

С. А. Кибальник

«Придет ужасный час... твои небесные очи»

Где-то между 22 октября и 3 ноября 1823 года — если верить «Летописи жизни и творчества А. С. Пушкина» — в Одессе поэтом были написаны два стихотворения, представляющие собой самостоятельное развитие фрагментов его неоконченного большого замысла «Таврида». Это одно из самых замечательных лирических творений Пушкина вообще «Надеждой сладостной младенчески дыша» и неоконченный набросок «Придет ужасный час — твои небесны очи». Вместе с написанным еще в 1822 году в Кишиневе стихотворением «Люблю ваш сумрак неизвестный», окончательная редакция которого относится к Михайловскому периоду, они составляют своеобразный триптих, в котором отражаются тогдашние размышления Пушкина о смерти и который вследствие этого заслуживает специального рассмотрения под этим углом зрения. Только одновременное рассмотрение «неоконченного и необработанного отрывка» «Придет ужасный час», как его определяет малое академическое издание, вместе с этими его своеобразными стихотворениями-спутниками позволит сделать предположения об общем характере замысла и оценить его с точки зрения тогдашних мировоззренческих и литературных устремлений.

Поэтическая мысль во всех стихотворениях, как и в неоконченной «Тавриде», вращается вокруг темы бессмертия человеческой души. В «Тавриде» ее ход, по характеристике Б. В. Томашевского, был таков: «Пушкин начинает с темы посмертного бытия, или точнее, с темы небытия:

Ты сердцу непонятный мрак,
Приют отчаянья слепого,
Ничтожество! пустой призрак,
Не жажду твоего покрова...

Эта тема небытия («ничтожества») получает свое развитие в дальнейших стихах и вызывает противоположную тему

Элизия, которую Пушкин рассматривает не как религиозный догмат, а как создание поэтической фантазии.

Зачем не верить вам, поэты?
Да, тени тайною толпой
От берегов печальной Леты
Слетаются на брег земной.

Рисуя эту поэтическую картину, Пушкин ставит вопрос, какое же место привлечет его собственную тень, какая земная привязанность победит грядущую смерть.

Так, если удаляться можно
Оттолк, где вечный свет горит,
Где счастье верно, непреложно,
Мой дух к Юрзуфу прилетит.

Далее должны следовать картины Крыма».¹

Пушкин, следовательно, развивал в «Тавриде» романтическое представление о победе любви над смертью, о том, что бессмертная душа и за гробом сохранит «память милой». Можно предположить, что этот неглубокий оптимизм текста и был одним из факторов, предрешивших его судьбу. Оставив этот крупный замысел, Пушкин попытался развить его фрагменты в миниатюрах, в которых он стремился найти не столь стандартные варианты решения темы.

В стихотворении «Люблю ваш сумрак неизвестный» был опробован вариант смерти не возлюбленной, а самого лирического героя — т. е. первоначальный вариант «Тавриды». В окончательной редакции стихотворение даже и состояло почти исключительно из стихов «Тавриды», но изменение их последовательности привело к изменению смысла на противоположный. Если в соответствующем отрывке «Тавриды» поэтическое представление о посещении «земного берега» теньями умерших в Элизии высказывается с доверием: «Зачем не верить вам, поэты?...», то в «Люблю ваш сумрак неизвестный» оно, напротив, подвергается сомнению:

Но, может быть, мечты пустые —
Быть может, с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные,
И чужд мне будет мир земной;
Быть может, там, где все блистает
Нетленной славой и красой,

1. Томашевский Б. А. «Таврида» Пушкина. — Ученые записки ЛГУ, № 122. Серия филолог. наук. Вып. 16. 149. С. 123-124.

Где чистый пламень пожирает
Несовершенство бытия,
Минутных жизни впечатлений
Не сохранит душа моя,
Не буду ведать сожалений
Тоску любви забуду я?...

(11, 255)

Сомнение это со временем сменилось у Пушкина откровенной иронией. Так, в седьмой главе «Онегина» поэтическое представление об Элизии подвергнуто пародированию:

Мой бедный Ленский! за могилой
В пределах вечности глухой
Услышал ли твой дух унылый,
Обет изменницы земной,
Или а Летой усыпленный
Поэт забвием блаженный,
Уж не смущается ничем,
И мир ему закрыт и нем?...

По крайней мере из могилы
Не вышла в сей печальный день
Его ревнующая Тень,
И в поздний час, Гимену милый,
Не испугали молодых
Следы явлений гробовых.

(VI, 422)

Наиболее пессимистический вариант темы получил развитие в стихотворении «Надеждой сладостной младенчески дыша»:

Надеждой сладостной младенчески дыша,
Когда бы верил я, что некогда душа,
От тления убежав, уносит мысли вечны
И память, и любовь в пучине бесконечны, —
Клянусь! давно бы я оставил этот мир:
Я сокрушил бы жизнь, уродливый кумир,
И улетел в страну свободы, наслаждений,
В страну, где смерти нет, где нет предрассуждений,
Где мысль одна плывет в небесной чистоте...
Но тщетно предаюсь обманчивой мечте;
Мой ум упорствует, надежду презирает...
Ничтожество меня за гробом ожидает...
Как, ничего! Ни мысль, ни первая любовь!
Мне страшно!... И на жизнь гляжу печален вновь,
И долго жить хочу, чтоб долго образ милый
Таился и пылал в душе моей унылой.

(II, 295)

Иное бытие рисуется в романтическом плане, как идеальный мир «свободы, наслаждений», но разум лирического героя подсказывает, что за гробом его ожидает «ничтожест-

во»; это рождает в герое желание жить, чтобы сохранить в себе образ любимой. Вспомним, что в соответствующих отрывках «Тавриды» на вопрос:

Но, улетев в миры иные,
Ужели с ризой гробовой
Все чувства брошу я земные
И чужд мне будет мир земной.

следовал отрицательный ответ и утверждение бессмертия любви.

На первый взгляд, сходная идея развивается в наброске «Придет ужасный час»:

Придет ужасный [час]... твои небесны очи
Покроются, мой друг, туманом вечной ночи,
Молчанье вечное твои сомкнет уста,
Ты навсегда сойдешь в те мрачные места,
Где прадедов твоих почиют*мощи хладны.
Но я, дотолы твой поклонник безот(радный),
В обитель скорбную сойду [я] за тобой
И сяду близ тебя, печальный и немой,
У милых (?) ног твоих — себе их на колена
Сложу — и буду ждать [печаль(но)] ... [но чего?]
Что силою мечтанья моего

(II, 296)

И в самом деле, например, Б. П. Городецкий полагал, что в этом стихотворении «намечается возможность победы любви над смертью».² В тексте действительно заложены некоторые ассоциации в духе мифа об Орфее и Эвридике. Однако последние строки предполагают скорее скептическое развитие романтического мотива преодоления смерти «силою мечтанья» героя. Скепсис этот, очевидно, связан с возможностью сохранения в загробной жизни земных чувств и соответственно с бессмысленностью возвращения. Коллизия наброска, следовательно, близка к коллизии стихотворения «Надеждой сладостной младенчески дыша». Не случайно, оставив набросок «Придет ужасный час», Пушкин на другой стороне листа создал его черновой автограф. Своего рода «эхом» наброска «Придет ужасный час» можно полагать песню Мери в «Пире во время чумы», воплощающую ту же романтическую идею победы любви над смертью и, очевидно, вызывающую авторское сочувствие, но не веру.

2. Городецкий Б. П. Лирика Пушкина. М.; Л., 1962. С. 272.

Итак, за полтора года, разделяющие «Тавриду» и новые вариации на ее темы, Пушкин решительно меняет свое отношение к вопросу о бессмертии души. Поворотным пунктом при этом оказывается мотив сохранения в новом бытии «земных чувств». Его лирический герой отказывается верить в то, что его душа, «от тленья убежав» (образ, впоследствии использованный в «Памятнике») — унесет «мысли вечны и память, и любовь в пучины бесконечны». Этот поворот темы не имеет, как кажется, никаких существенных параллелей у самого Пушкина. Мы можем только вспомнить сочувственное цитирование поэтом в 1821 г. слов П. И. Пестеля: «Mon coeur est matérialiste, mais ma raison s' y refuse» (XII, 303). Между прочим, это пестелевское сопротивление разума материализму, возможно, отмечено печатью «естественной религии» Ж. Ж. Руссо, а активное изучение Пушкиным последнего в 1822 году могло утвердить в нем поэта. Но к концу 1823 года это влияние, по-видимому, столкнулось с каким-то противоположным.

Одним из таких противоположных влияний были, конечно же, «уроки чистого афеизма», о которых поэт в письме к П. А. Вяземскому от апреля — первой половины мая 1824 г. писал: «Здесь англичанин, глухой философ, единственный умный афей, которого я еще встретил. Он исписал листов 1000, чтобы доказать, qu' il ne peut exister d' être intelligent Créateur et régulateur, мимоходом уничтожая слабые доказательства бессмертия души. Система не столь утешительная, как обыкновенно думают, но к несчастью более всего правдоподобная» (XIII, 92). Итак, теперь уже рациональное обоснование невозможности бессмертия души вызывает вполне сочувственный пушкинский отзыв. Особенно показательна последняя фраза: из нее ясно, что уроки «англичанина, глухого философа» пришлись на уже подготовленную почву. И это вполне понятно, если иметь в виду, что отзыв этот был сделан на полгода позднее создания двух одесских стихотворных размышлений Пушкина о смерти.

В самом деле, уже в стихотворении «Надеждой сладостной младенчески дыша» поэт отказывается верить в бессмертие души: «мой ум упорствует, надежду презирает». Но главным оказывается даже не само бессмертие, а сохранение души ее прежних, земных ощущений, без которых бессмертие не имеет смысла. И такой поворот темы заставляет поставить вопрос о ее философских и литературных основах, до сих пор не поднимавшийся. Между тем решить его не так уж трудно.

Дело в том, что пушкинской «Тавриде» самим поэтом был предпослан эпиграф из посвящения к гетевскому «Фаусту». И чрезвычайно близкие параллели к стихотворению «Надеждой сладостной младенчески дыша» обнаруживают уже речи Фауста к Вангеру и Мефистофелю в первой части трагедии. Как и лирический герой Пушкина, Фауст полон устремления в «мир новой жизни неизвестной»:

Но две души живут во мне,
И обе не в ладах друг с другом
Одна, как страсть любви, пылка
И жадно льнет к земле всецело,
Другая вся за облака
Так и рванулась бы из тела.
О, если бы не в царстве грез,
А в самом деле вихрь небесный
· Меня куда-нибудь унес
В мир новой жизни неизвестной!

В то же время Фауст сознает свою связанность только с земным миром: только в нем он способен испытывать какие-либо чувства:

Но я к загробной жизни равнодушен.
В тот час, как будет этот свет разрушен,
С тем светом я не заведу родства.
Я сын земли. Отрады и кручины
Испытываю я на ней едипой.
В тот горький час, как я ее покину,
Мне все равно, хоть не расти трава,
И до иного света мне нет дела,
Как тамошние б чувства ни звались,
Не любопытно, где его пределы
И есть ли там, в том царстве, верх и низ.³

В пушкинском стихотворении звучит та же мысль, что и в декларациях Фауста: мысль о прочной связанности поэта с земным миром, в котором только и существуют как гетевские «отрады и кручины», так и пушкинские «мыски вечны, и память, и любовь». Пушкинское развитие этого фаустовского мотива вполне оригинально, так как выдержано в любовно-элегическом ключе, чего совсем нет у Гете. Тем не менее, тождество основной идеи в сочетании с многочисленными свидетельствами о знакомстве Пушкина в эти годы с «Фаустом» делает наше предположение о связи двух произведений весьма вероятным.

3. И. — В. Гете. Фауст. Трагедия. Пер. Б. Пастернака. М., 1982. С. 57-58, 74.

Разумеется, названный мотив весьма распространен в европейской литературе. Например, близкий к пушкинскому ход мыслей представлен даже в знаменитом монологе Гамлета из одноименной шекспировской трагедии, начинающемся словами «Быть или не быть?...»:

Какие сны в том смертном сне приснятся,
Когда покров земного чувства снят?

Кто бы согласился
Кряхтя под ношей жизненной плестись,
Когда бы неизвестность после смерти,
Боязнь страны, откуда ни один
Не возвращался, не склоняла воли
Мириться лучше со знаемым злом,
Чем бегством к незнакомому стремиться.⁴

Однако близость эта носит гораздо более общий характер. У Гете декларирована та же, что и у Пушкина, приверженность к земле, на которой только и существуют человеческие привязанности. У Шекспира также речь идет о снятии «покрова земного чувства в смертном сне», но далее следует мысль о том, что только страх перед этой неизвестностью останавливает многих «мириться» со своей земной долей. В шекспировской модификации мотив этот стал в европейской литературе довольно расхожим. В фаустовском, довольно крамольном с точки зрения религиозных представлений виде, он редок. Байрону, несмотря на все его богоборчество, он чужд именно своей «дольностью». Это делает наше предположение более чем вероятным.

Любопытно, что как у Гете, так и у Шекспира, в данном случае, был, по-видимому, один общий источник, бывший вообще одним из основных поставщиков философских представлений, подвергаемых ими художественному исследованию, — это Монтень. Во всяком случае, столь пленивший Пушкина аргумент против бессмертия души был наиболее известен в его блестящем изложении: «Ведь впадают же некоторые наши единоверцы в подобное заблуждение и надеются после воскресения вернуться к земной и телесной жизни со всеми мирскими благами и удовольствиями. /.../ Все радости смертных тоже смертны. /.../ изменение должно быть таким коренным и всесторонним, что мы перестанем быть в физическом

4. Вильям Шекспир в переводе Б. Пастернака. М.; Л., 1943. Т. I. С. 506.

смысле тем, чем были. /.../ тот, кто будет испытывать это наслаждение, не будет больше человека, а следовательно, это будем не мы; ведь мы состоим из двух основных частей, разделение которых и есть смерть и разрушение нашего существования». (Книга первая. Глава XII).⁵ Аргумент этот взят Монтемом из арсенала эпикурейской философии, и сам писатель приводит здесь же соответствующие высказывания Лукреция Кара, как например: «Да и если бы после смерти вещество нашего тела было вновь собрано временем и приведено в нынешний вид и если бы нам дано было вторично явиться на свет, то это все-таки не имело бы для нас никакого значения, так как память о прошлом была бы у нас уже прервана». (О природе вещей. III. 859).⁶ Таким образом, то любовно-элегическое развитие темы, которое мы находим в двух стихотворениях Пушкина, имеет в своей основе эпикурейско-ренессансную идею, вполне естественную в устах гетевского Фауста.

Говоря об элегическом начале в стихотворении «Надеждой сладостной младенчески дыша», следует отметить ориентацию на батюшковскую традицию. Отчетливо ощущалась она еще в «Тавриде», неслучайно воспроизводившей заглавие известной элегии К. Н. Батюшкова. Здесь и использование чисто батюшковской фразеологии. Ср. «ужели с ризой гробовой /Все чувства брошу я земные» Пушкина и «земную ризу брошу в прах» («Надежда»), «И с ризой странника срывая прах и тлен, /В мир лучший духом возлетаю» (К другу) Батюшкова

Начало стихотворения «Надеждой сладостной младенчески дыша» в самом общем плане близко к финалу пушкинской «Тибулловой элегии III», также выполненной александринами:

Когда же парк сужденье,
Когда суровых сестр противно вретено
И Делией владеть Тибуллу не дано,
Пускай теперь сойду во области Плутона,
Где блага топкие и воды Ахерона
Широкой цепню вокруг ада облежат,
Где беспробудным сном печальны тени спят.⁷

Хотя по смыслу пушкинские стихи скорее противоположны батюшковским. Если Тибулл в переводе Батюшкова готов

5. Монтедь М. Опыты. М.; Л., 1958. Кн. 2. С. 219—221.

6. Там же. С. 221.

7. Батюшков К. Н. Полн. собр. стихотворений. М., Л., 1964. С. 103.

умереть, когда ему не дано владеть Делней, то лирический герой Пушкина, напротив, хочет жить ради того, чтобы хранить в своей душе образ любимой; мысли же о смерти связаны у него с несовершенством земного мира («жизнь» — «уродливый кумир»). Но главное — это то, что пушкинская романтическая философия смерти строится отнюдь не на религиозных основаниях, как у Батюшкова, а даже полемична по отношению к такому типу мирозерцания. Особенно очевидно это в стихе «Мой ум упорствует, надежду презирает», явно отсылающем нас к батюшковской «Надежде» (1815), открывающей раздел элегий в «Опытах в стихах и прозе». Религиозное осмысление надежды, впрочем, было характерно и для стихотворения в прозе В. А. Жуковского «К надежде» (1800) и для одноименной пьесы Н. И. Тургенева, однако в поле зрения Пушкина было прежде всего пользовавшееся большей известностью стихотворение Батюшкова.

Проделанный анализ стихотворения «Надеждой сладостной младенчески дыша» только подтверждает предварительно высказанные соображения относительно наброска «Придет ужасный час». В этом законченном творении Пушкина как раз и нашла све полное развитие художественная идея наброска.

«Цена всякой человеческой мудрости испытывается на отношении к смерти»,⁸ — заметил однажды по поводу Пушкина Мережковский. На примере тех проанализированных выше пушкинских стихотворений можно видеть, что поэтическое претворение этой темы уже на протяжении южного периода претерпело существенное развитие, которое позволяет говорить о значительном движении поэта от традиционно романтического ее осмысления к трактовке в духе «истинного романтизма» Пушкина второй половины 1820-х—1830-х годов, о других значительных переменах в мировосприятии поэта. Перемены эти запечатлели уже неорганичность для создания поэта субъективно-идеалистического начала. Его поэтический вариант, в духе античного мифа об Элизии, впрочем, по-прежнему привлекал его. Об этом свидетельствуют и написанная в Одессе «Прозерпина» (1824) и завершенное в Михайловском стихотворение «Люблю ваш сумрак неизвестный» (1825). Но его идейная основа уже оказывается чужда Пушкину. В этом осознании своей кровной связи с земным миром

8. Мережковский Д. С. Вечные спутники. Пушкин. 3-е изд. СПб. 1906. С. 22.

и реальностью один из важнейших творческих итогов переработки фрагментов «Тавриды» в отдельные самостоятельные произведения. Немаловажным оказывается и то, что традиция сближать мировосприятие Пушкина с художественной философией Гете, восходящая к «Вечным спутникам» Мережковского, получает в ходе их пристального анализа вполне конкретные и четкие историко-литературные основания. Имея в виду уныло элегическую интерпретацию темы смерти в лицейский период и эпикурейскую в петербургский (например, «Кривцову» — 1817), можно констатировать успешное движение Пушкина в сторону открытия в трактовке темы смерти новых, прежде не открывавшихся в русской поэзии горизонтов.

А. С. Лобанова

«ВЕЧЕРНЯ ОТОШЛА ДАВНО»

Вечерня отошла давно,
[Но в кельях тихо и] темно.
Уже и сам игумен строгой
Свои молитвы прекратил
И кости ветхие склонил,
Перекрестясь, на одр убогой.
Кругом и сон и тишина,
Но церкви дверь отворена;
Трепе(щет) луч лампы
И тускло озаряет он
И темну живопись икон
И позлащенные оклады.
И раздается в тишине
То тяжелой вздох, (то) шопот важный,
И мрачно дремлет в вышине
Старинный евод, глухой и влажный.
Стоят за клиросом (чернец)
И грешник — неподвижны оба —
И шопот (?) их, как глас (из) гроба (?),
И грешник бледен, как мертвец.
М. (онах).
Несчастный — полно, перестань,
Ужасна исповедь злодея!
Заплачена тобою дань
Тому, кто в мщеньи (?) свирепя (?)
Лукаво грешника блюдет —
И к вечной гибели ведет.
Смирись! опомнись! [время, время],
покров (?)
Я разрешу тебя — грехов
Сложу мучительное (бремя).

Государственный музей

А. С. Пушкина

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
А. С. ПУШКИНА

МАТЕРИАЛЫ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Москва

1993